

*А. К. Секацкий*

## **Фигура гармониста и проблема культурной монады**

*В интересной статье А. К. Секацкого, полной неожиданных сравнений и увлекательных экскурсов в «метафизический смысл деревенской драки», представлены оригинальные авторские подходы к поиску той диалектики «созидания и разрыва», которая веками сохраняла и воспроизвела сущностные черты народной культуры. Частное проявление деревенского образа жизни – периодические деревенские драки, память о которых, говоря словами автора, «сохранилась практически у всех старших жителей белозерских деревень», стали поводом для общих размышлений о монаде русской действительности.*

*Публикуемая статья не в полной мере соответствует названию. Фигура гармониста эпизодична, поэтому выводы автора о его функции в драках недостаточно убедительны и доказательны из-за малого количества материала, записанного от информаторов. Статья по сути посвящена драке как феномену проявления в мирной жизни «борцовского поведения» мужского населения деревни в начале XX века.*

*Редакция, уважая право каждого автора на свою позицию, отмечает, что в российской этнологии давно сложился устойчивый интерес к традиционным народным состязаниям (например, «кулачным» и «палочным» боям). Достаточно напомнить о работах Д. К. Зеленина, Н. И. Костомарова, А. А. Лебедева, М. Г. Рабиновича, Б. В. Горбунова, Г. И. Фомина, Т. А. Бернштам и др. Изучены ритуалы боев, их правила, пути примириения и т. п. Они действительно играли компенсаторную функцию, имели свой сакральный смысл, способствовали подготовке молодежи к приобретению необходимого опыта риска, выдержки, мужества, ответственности за репутацию своей деревни, своей возрастной группы. Но это были не обиходные драки, а «примерные бои», «игрища». Убийство участников рассматривалось как трагическое исключение, пьянство – тоже. Традиция таких «молодецких забав» древняя, намного древнее «фигуры гармониста» и самой гармони тоже.*

*Скорее всего, уважаемый автор зафиксировал традицию на этапе ее «последнего издохания» по воспоминаниям информаторов, которые можно отнести к 10–20-м годам XX века, когда она, подобно надутому, но незавязанному воздушному шарику (используем образное выражение самого автора), совершила еще беспорядочные рывки перед тем, как навсегда затихнуть.*

Данная статья представляет собой краткую сводку наблюдений и размышлений во время фольклорной экспедиции в июле 1995 года в деревнях Кобылино, Анашкино и Устье Белозерского района Вологодской области. Цель ее – послужить введением к более доскональному исследованию предмета.

## *Контуры проблемы*

Всем известно, что гармонист – первый парень на деревне. Если попытаться визуализировать это расхожее представление, возникает примерно такая картинка: удалой весельчак (желательно кудрявый) наяривает на гармошке, распространяя вокруг себя веселье и задор; парни пляшут, девки поют, а старики с умилением вспоминают молодость.

Мое представление, во всяком случае, было именно таким, пока я не столкнулся с реальностью (разумеется, уже утраченной) соверенно другого рода, с сюжетом, уводящим далеко в сторону от идеалистической гулянки, куда-то к самим основам целостного бытия деревенской жизни, к проблеме самодостаточного культурного единства<sup>1</sup>.

Расспрашивая стариков и старух села Кобылина и окрестных деревень, я обратил внимание на тему, которая всплывает сама по себе как некая свободная ассоциация с бытым. Речь идет о периодических драках, если не сказать побоищах, между соседними деревнями: «Ну кобылинские, как известно, враждовали с Устьем и с Рожаевым [деревни Белозерского района]. В каждой деревне был свой праздник, и вот на праздник-то этот собирались парни с других деревень. И тогда-то драки бывали между парнями, и каждая, почитай, драка убийством заканчивалась. Так вот было». (Александр Авксентьевич Лысанов, 1919 г. р., село Кобылино.)

Память о драках, сопровождавшихся необыкновенной жестокостью, сохранилась практически у всех старших жителей белозерских деревень.

«Дрались все. А у нас ведь раньше как было – гулянье, так убийство, как гулянье, так убийство. Вот, где вы речку переезжаете, там [деревня] Мурта была – так сколько на этой Мурте людей погибало!» (В. И. Семенов, 1929 г. р., д. Ануфриево.) Гулянье, веселье переходило в драку естественным образом, как бы само собой. Драка была просто неотъемлемой частью праздника, по существу – его синонимом. Возникает вопрос: а как же гармонист, этот весельчак и балагур? Он-то что со своей гармошкой? Такой вопрос я задал М. В. Тарасовой, 1928 г. р., жительнице села Кобылина, и получил неожиданный ответ, подтвержденный впоследствии и другими собеседниками: «Гармонист-то всегда впереди, он и тут при деле. Если вот драка зачинается, он начинает играть как бы «задиристую» – что аж дрожь берет. Начинает такую игру,

звереют люди от которой... Самой, что ли, хочется драться. Не мелодичную какую играет, а начинает дергать, вот дергать, чтоб еще злее дрались. Ведь как для пляски своя музыка нужна, так, значит, и для драки... Гармонист эту-то особу музыку и играет, ярит людей». (М. В. Тарасова.) Таким образом, и в драке у гармониста было свое место, которое, пожалуй, можно назвать решающим. Попытаемся разобраться, что это за место и в чем мог заключаться смысл праздничных сражений, регулярно происходивших в деревнях русского Севера на протяжении столетий.

### *Феномен праздничной драки*

Обобщенная картина типичной драки выглядит примерно так. Кобылинские парни собираются в Рожаево на праздник (свой престольный праздник был в каждой деревне и чаще всего не один). Пива выпито вдоволь: белозерские деревни издавна славились традициями пивоварения, существовало несколько устойчивых сортов, в том числе элитное пиво «кумушка». Парни в приподнятом настроении, они готовы повеселиться, позаигрывать с девками — словом, других посмотреть и себя показать. Но на всякий случай берут с собой оружие — цепи с гайками и так называемые «трости» — обрезки толстой проволоки с оплетенной рукояткой. Впрочем, возможность применения оружия не обсуждается, не строится и предварительных планов; разговор идет в основном о предвкушении веселья, о девках, о выпивке. Проявления тревожности и вообще какой-либо степени озабоченности будущим пресекаются насмешкой.

Вот веселая компания во главе с гармонистом подходит к соседней деревне. Как правило, в село входят не сразу; сначала идут вдоль оконицы. Парни покут частушки, девки откликаются. Наконец, пройдя по периметру, гости входят в деревню, где праздник тоже в разгаре, и местные парни, выпив не меньшее количество пива, собрались в свою группу. Компании сближаются, между ними начинается «обмен любезностями» — подначивание, подразнивание. Тем более, что для жителей каждой деревни есть свое коллективное прозвище, кажущееся особенно обидным (удаву Каа, например, было особенно обидно, когда его называли «земляным червяком»). В какой-то момент — и этот момент можно назвать «точкой перегиба» — происходит решающий поворот калейдоскопа: либо встреча развернется в «веселье», либо — кровавая драка со всеми вытекающими из нее последствиями. Судя по единодушному мнению опрошенных, первый вариант был достаточно редким.

Драка буквально «вспыхивает». Если воспользоваться аналогией из химии, можно сказать, что сначала идет накопление критической массы, достаточно медленное по сравнению с последующей фазой, а

затем срабатывает цепная реакция, происходит вспышка, взрыв. В ход идет как заранее принесенное оружие, так и все, что попадается под руку: поленья, камни, оглобли. В этом пункте описания однообразны и разноточтений практически нет. Приведу лишь фрагмент беседы с уже упоминавшимся В. И. Семеновым:

- А правила какие-нибудь были на этих драках?
- ... Вот у нас был Павел Павлыч, так он жердиной по двое спибал. Жердина с метра три.
- И что это было: кулачный бой или на борьбу похоже?
- Нет. Это артель на артель наскакивали, и кто чем, кто колотушками, кто железным тросом. (Записано Н. Славгородской, М. Степиной 17 июля 1994, д. Ануфриево.)

В результате реакции возникает краткосрочное *тело драки*, где даже не всегда строго выдерживается разделение на своих и чужих. Тем не менее, его нельзя назвать «телем без органов» в смысле Делеза и Гваттари: оно структурировано, по крайней мере, в одном отношении — четко выделяется *позиция гармониста*. Из воспоминаний очевидцев выясняется, что если в период подначивания и задирания (то есть пока идет накопление критической массы) гармонисту достается больше всех, — вероятно, по причине особой эффективности подобных провокаций, — то в ходе самой драки *гармониста не трогают*. Его место характеризуется особой топикой: будучи внутри, как бы в самом эпицентре побоища, он в то же время и *вне*, за пределами досягаемости палок, кулаков и ножей.

Гармонист играет особую, прерывистую музыку, «мелодию ярости и гнева», и нельзя отделаться от ощущения, что гармошка в его руках представляет собой оружие опаснее трехметровой жердины Павла Павловича. Гармонь превращается не просто в оружие, а, если можно так выразиться, в оружие массового поражения, в низкочастотный битвоусилитель, подзаряжающий ярость дерущихся, оно именно «ярит» людей, по точной характеристике М. В. Тарасовой. Гармонист служит как бы источником специфического одухотворения, он производит нечто противоположное аристотелевскому «катарсису» (то есть «очищению», «избавлению»), производит «инфлюэнс» — «подзарядку», актуализацию потенциальной энергии. Через топос гармониста в тело драки нисходит *Дух Воинственности*, которым это тело движимо, подобно тому, как всякое воплощение (плоть) движимо определенным духовным началом<sup>2</sup>. Теперь драка может идти вплоть до полного истощения сторон (выработки расходных материалов, реагентов цепной реакции), но, как правило, останавливается раньше, причем единственным возможным в этом случае образом — оповещением об убийстве кого-либо.

## *Эмпирическая бессмыслица и метафизический смысл драки*

Кажется, есть все основания для весьма печального вывода: накопленная энергия (например, «удаль молодецкая») бессмысленно расточается, вместо созидания вызывая лишь духовное опустошение, приводя к многочисленным увечьям и к смерти. Но не будем спешить с очередной пессимистической вариацией на тему «Эх, Россия-матушка...» Есть ряд фактов и соображений, которые должны удержать нас от преждевременных выводов.

Во-первых, ни один из тех, кто вспоминал о подобных драках, не высказывал однозначного осуждения – тем более не могло быть и речи о чьей-либо персональной ответственности за смерть. По этому параметру сражение деревень ничем не отличается от войны государств. Виновато Рожаево – ему и отмщение, но и Рожаево виновато только в задирании на драку, а не в убийстве – в убийстве же «виновата» сама драка. «Так и сгинул в драке, все под Богом ходим», – говорит бабушка Лялина о своем старшем брате<sup>3</sup>.

Во-вторых, от поспешных выводов удерживают исторические аналогии, пусть даже, на первый взгляд, достаточно отдаленные. У многих народов, и прежде всего у народов, славившихся своей стойкостью и воинским мужеством, издревле существовали традиции, которые при поверхностном рассмотрении могут показаться просто членовредительством социального тела. Часть воинов (обычно особые подразделения «воинов ярости») как бы «тренировались на своих». И если илотов, на которых периодически «охотились» спартанские юноши, можно еще отнести к «чужим», то практика немотивированной ярости мергенов (у древних тюрков), берсерков (у скандинавов) и др. была напрямую направлена против подвернувшихся под руку собственных соплеменников.

Дело в том, что частые войны требовали культивирования неистовства, и крайне важной становилась проблема хранения неистовства в промежутках между войнами. Принцип «готовь сани летом, а телегу зимой» применим и в отношении к кондициям воинского духа. Фактически наносимые увечья и даже гибель небольшого числа «своих» можно рассматривать как вынужденную жертву, «подкормку» для поддержания мужества. Сохраненный таким образом Дух Воинственности помогал избежать гораздо больших бед – в случае войн и попыток поработления ярость применялась по прямому назначению; но для этого она уже должна быть готовой, как телега зимой. По существу праздничные деревенские драки, будучи устойчивым и неотъемлемым элементом культурной традиции, попадают в тот же ряд, что и рыцарские турниры в средневековой Европе, и сменившие их дворянские дуэли. Только при поверхностном взгляде может показаться, что элита ослабляла себя «расточительным самоистреблением». На самом деле

таким образом поддерживалась готовность к отпору и риску, и считать «легкие профилактические ранения» социального тела только деструктивным началом нет никаких оснований. Социум, как реальность исключительно высокого ранга, не поддается «упрощенному гуманистическому объяснению», при котором драки, жертвы, энергетика обмана выглядят некоторыми эксцессами, досадными помехами, своего рода проявлениями «остаточной дурости»; на самом деле они являются альтернативным источником одухотворения, анимации социального тела, и без этого источника монада первично-человеческого не может устоять, она неизбежно переходит к инерции угасания.

Диалектика созидания и растраты отнюдь не так проста, как может показаться. Кем был Змей Горыныч, этот сказочный персонаж, похищавший раз в год самую красивую девушку? Прежде всего врагом, источником напасти и горя. Но не только. В сложном симбиозе одухотворяющих начал Змей Горыныч образует отрицательный полюс богатырского начала, «недостачу в качестве причины»<sup>4</sup>. Змей Горыныч может полагать, что послан в этот мир для съедения принцессы, не подозревая о трансцендентном смысле своего существования: пробудить героя, добра молодца, который и снесет ему все три головы.

Деревенская драка представляла собой нечто подобное. Ее участники и невольные свидетели вовсе не обязаны были прозревать трансцендентальный смысл этой напасти. Тем более любопытно, что смутное ощущение такого смысла им присуще. В рассказах деревенских старожилов о драках, в целом довольно эпических по своему тону, встречаются упоминания как о казусах о материях, пытавшихся выручить своих сыновей из побоища, о девушках, решившихся «спасти сердечного друга»: «А то вот в Рожаеве дело было, дак там мать ведро сыну на голову одела и уволокла его в дом из драки-то». (Валентин Качанов, староста села Кобылина.) Здесь проглядывает восхищение материнской изобретательностью, но в целом неучастие в драке для парней считалось позорным. Девушка могла, конечно, потерять парня, забитого в драке, но она могла «потерять» его и из-за резкого понижения социального статуса в случае уклонения от «настоящего мужского дела».

Неприкосновенность гармониста, обладателя самого грозного оружия и объективного катализатора драки, тоже указывала на уважение к смыслу, превосходящему частное разумение.

Случай, когда доставалось и гармонисту, бывали, но это, как видно из рассказов, особые случаи: «Известное дело, гармонист он тоже живой человек, когда друга-то его бьют, так и он, бывало, не устоит, может и гармошкой прямо по голове кого. Тут уж и его бьют тогда». (Авдотья Кирилловна Чаева, д. Устье Артюшинского с/с.) То есть неприкосновенность гармониста носила не эмпирический, а метафизический характер. В случае использования «оружия массового поражения» как обыкновенной дубины он утрачивал свой иммунитет.

## *Драки и синтез монады*

Итак, гармонист оказывается катализатором цепной реакции разрушения, но сама реакция является неким производственным процессом, регулярно возобновляемым и напоминающим своей цикличностью природный ритм; пульсация культуры зависит от него так же, как и от других природных ритмов. В драке выбиваются зубы, ломаются кости, происходит и другая видимая деструкция, но под ней идет невидимая работа созидания – воспроизводится самодостаточность человеческого бытия, совершается синтез монады.

Географические, социальные и культурные границы монады расплыvчаты. Речь может идти об отдельной деревне, связанной так или иначе со всем миром, но существующей как автономная единица благодаря внутренней самодостаточности. Автономность включает в себя и минимальное культурное самообеспечение – в принципе деревни русского Севера являлись полноправными единицами хранения социокода. Богатый фольклор, разнообразие деятельности (в большинстве белозерских деревень были высоко развиты ремесла) позволяли осуществить распечатку человеческого без заимствований со стороны.

Это значит, что матрица должна непрерывно воссоздаваться, воспроизводить исходную полярность высокого и низкого, священного и профанного, «сырого и вареного», говоря словами К. Леви-Стросса. Отсюда разноплановые, но равнонеобходимые роли «добра молодца» и Змея Горыныча, убогого пастуха и зимогора и, конечно же, гармониста, совмещавшего в себе целый ряд важнейших функций. Впрочем, эти столь различные, на первый взгляд, функции «первого парня на деревне», дирижера и веселья, и побоища, при ближайшем рассмотрении оказываются производными единого начала: в обоих случаях гармонист выступает как ретранслятор воодушевления, как проводник и посредник между источником одухотворения и жаждущей одухотворения плотью (например, социальной плотью, телесностью монады). Счастливчик Алладин имеет дело с духом лампы, монах, совершающий аскезу, – со святым духом (*Spiritus Sankti*), а гармонист – сразу со многими, но что особенно важно, – с самым «капризным», неудержимым и не оседающим ни в каких объективизациях – *Spiritus Militaris*, с Духом Воинственности<sup>5</sup>.

Значение Духа Воинственности для синтеза монады, самодостаточной единицы хранения и воспроизведения человеческого еще предстоит проследить во всех деталях, пока же можно подытожить главные следствия и производные регулярных праздничных драк:

1. Синтезируется реальное единство субъекта – солидарность всех парней деревни. Когда фраза «Мы из Рожаево» подкреплена кровью, болью и преодоленным страхом, она перестает быть просто фразой и

становится магической формулой на уровне ощущения «мы с тобой одной крови, ты и я». Деревня обретает статус самостоятельной единицы, способной вливаться в другие единства, не теряя обособления. Тем самым возникает новое пространство взаимоотношений, в котором человеческое находит себе дополнительную опору, расцвечивается новыми красками.

2. Инволтация ярости и мужества в коллективное тело драки, производимая гармонистом, представляет собой акт мощной энергетической подзарядки. Преодоленный минимализм повседневности открывает приобщенной душе более высокий горизонт, неразличимый в профанном времени будней, — горизонт, за которым расположено богатырское начало. Вышедший сюда обретает удаль молодецкую или хотя бы получает представление о возможной высоте человеческих горизонтов.

3. Даже кратковременный опыт бесстрашия, тем более повторяемый с известной регулярностью, предотвращает покорное подчинение обстоятельствам; разрушается то, что Аристотель называл «рабским состоянием». Конечно, разовые инъекции Духа Воинственности еще не создают стойкую привычку к свободе, но они прекращают инерцию самоуничижения и страха. Любопытно, что вологодские деревни почти не знали ухода в казаки; отчасти это можно объяснить «внутренним казачеством» — кратковременным, но регулярным элементом монасты.

4. Каждый из участников драки получает навык риска, который впоследствии легко конвертируется в какое-нибудь рискованное предприятие, требующее инициативы, не выводимой из повседневности.

Не случайно, что в течение столетий местные деревни активно занимались различными промыслами. В Кобылино, например, многие промышляли извозом. Предки Валентина Качанова торговали рыбой в Москве, перевозили товар от Архангельска до Вологды. Жители деревень Звоз и Иванов Бор (Кирилловский район) подряжались шкиперами (свидетельство Б. В. Маркова). Практически все имели лодки, некоторые семьи — по 2–3, многие умели их делать, изготавливали по заказу монастыря — например, отец А. А. Лысанова.

Участники экспедиции отметили еще одну характерную особенность, напрямую связанную с пульсирующей энергетикой жизнеспособной монасты. Среди старшего поколения жителей обследованных нами деревень число исконных уроженцев, проживавших всю жизнь в одной деревне, не превышает 30 процентов. Рассказы то и дело сопровождаются упоминаниями: «Жили мы тогда в Чалексах... [или в Якимове, или еще где], а потом уже сюда переехали». Причем речь идет не о брачных предпочтениях, традиционно ориентированных на другую деревню, а о переездах семьями: переезжая, разбирали дом по бревнышку, перевозили его на новое место и снова складывали. Дело это было обычным: в деревне Устье, например, каждый четвертый дом

сложен из пронумерованных бревен. Причина переезда могла оказаться вынужденной (так, деревня Чалекса была затоплена), но порой переезд вместе с домом осуществлялся просто в поисках лучшей доли. В структуре мировосприятия крестьян Белозерского края явственно отмечается «легкость на подъем» — чувство, несомненно родственное готовности к риску и связанное с ним общим источником одухотворения: есть веские основания говорить, что мы имеем дело с сублимацией Духа Всевеличественности — состояния высокой духовной мобилизации во многом является результатом периодического инфлюэнса (подзарядки) социального тела в реакторе праздничной драки.

## *Остановка реактора и прекращение «вдохновления». Распад монады*

Знакомство даже с разрозненными остатками некогда жизнеспособной социально-культурной единицы, воспроизведившей себя в течение столетий, заставляет пересмотреть не только образ гармониста как кудрявого весельчака, но и понимание культуры как линейного созидающего процесса, приумножающего символический ряд проявлений духа. Для русской философской традиции начала века, исполнявшей экзистенциальный заказ православия, характерна трактовка культуры как «умного делания», тихого кропотливого созидания, противостоящего разрушениям и соблазнам (П. Флоренский, С. Булгаков, С. Франк). Нет сомнений, что такая позиция продиктована самыми благими намерениями, но ее недостаток состоит в своеобразном страхе перед глубинной аналитикой сущего. Желаемое выдается за действительное, и мы имеем дело скорее с заклинаниями, чем с попыткой беспристрастного понимания, подобающего философи. В данном случае вполне справедлив упрек Ницше, высказанный им в работе «По ту сторону добра и зла»: «Никто не станет так легко считать какое-нибудь учение за истинное только потому, что оно делает счастливым или добродетельным, — исключая разве милых «идеалистов»... Нечто может быть вполне истинным, хотя бы оно было в высшей степени вредным и опасным: быть может даже одно из основных свойств существования заключается в том, что полное его познание влечет за собой гибель, так что сила ума измеряется, пожалуй, той дозой истины, которую он может еще вынести, говоря точнее, тем, насколько истина должна быть для него разжижена, занавешена и подслащена»<sup>6</sup>.

Любопытно, что в русском языке слова «дух» и «духовность» уже содержит в себе оценочный аспект, притом однозначно положительный, чего совершенно нет в немецком термине «der Geist», да и в других европейских языках. Если не довольствоваться «разжиженностью» истины, следует признать множественность одухотворяющих начал. Духовность включает в себя разные степени активизации материи

— в первую очередь социальной материи (тела социума), и устойчивый социальный субъект возможен лишь как преобразователь различных типов одухотворения; есть принципиальная разница между одержимостью каким-нибудь одним духом (Духом Наживы, Воинственности или хотя бы даже Логосом, *Spiritus Sancti*) и способностью удержать взаимопротиворечивую энергетику в единстве монады.

Быт и культура русской деревни проявляются через силу средоточия, через баланс сдерживания, взаимоподпитки и взаимограницения одухотворяющих (активирующих) начал. Поэтому культура как ипостась самодостаточной монады резко отличается от культуры, полностью «одержимой логосом», т. е. от современной авторской культуры с ее манией перепроизводства символических рядов. Та Вселенная самовозрастающих текстов, в которой мы живем, есть территория, где свидетельствует диктатура семиозиса. Это вовсе не прогрессия «умного дела-ния», а скорее катастрофа исходной монады, ускоренное выгорание расходного материала после того, как баланс сдерживания нарушен. Как бутончик, срезанный и поставленный в вазу, распускается перед смертью, так и современная культура в предсмертной скороговорке спешит побежать и выговорить весь потенциал заложенных смыслов.

Странная вещь, — признавая экологию природных сообществ «хитрой и тонкой штукой», ангажированная философия (и культурология) с редким самомнением берется судить о своеобразном культурном rationale личности и социума. Существует история о том, как два десятилетия назад на большом участке канадской тундры уничтожили комаров. Казалось бы, что, кроме пользы, может произойти от уничтожения этих кровососов? Произошло же следующее. Миграция оленей с пастбища на пастбище, происходившая ранее прежде всего под влиянием беспокоящего гнуса, резко замедлилась. Олени стали кочевать только после полного вытаптывания и «выедания» пастбища. Естественное восстановление травяного покрова нарушилось, и уже через несколько лет кормовая база северного оленя оказалась под угрозой полного уничтожения. Пришлось предпринимать срочные меры для восстановления прежней численности кровососов.

А ведь экология культуры не в пример более сложна, при том, что большая часть изменений имеет необратимый характер. Последствия нарушения метафизической неприкосновенности гармониста, инициирующего ярость и праздничность драки, далеко не безобидны: тем более, что роль Духа Воинственности в поддержании единства монады представляется решающей. Мы имеем дело с противоположностью видимости и сущности: культура, перешедшая в стадию цивилизации, выглядит (кажется) непрерывным приумножением объективаций, в первую очередь текстов, по сути же она есть *растраты* духовного запаса, потенциальной и кинетической энергии человеческого действия. Напротив, тяга, стягивавшая парней на праздники и на драки, была

прямым проявлением силы средоточия, разрушительной на поверхности, но созидающей и собирающей в своих глубинах.

Только поддержание монады во всех ее параметрах гарантирует воспроизведение минимальной полноты человеческого. Игрались свадьбы, рождались дети, строились и переносились дома, сказывались сказки, пелись песни, дрались драки — все члены этого перечисления можно соединить союзом «потому что» — как в прямом, так и в обратном порядке. Речь идет о перекрестном одухотворении, созидающем и длящем монаду монад. Выпадение любого из звеньев экзистенциальной цепочки создает роковую прореху, нарушающую взаимосублимацию источников одухотворения. Это вовсе не значит, что с «отменой» драк сразу же рухнут крыши или перестанут играться свадьбы. Поначалу ничего такого не произойдет. Более того, отток одного из составляющих интегральной одухотворенности вызывает смешение средоточия и, как следствие, вспышку близлежащей монады. Скажем, изъятие Духа Воинственности индуцирует смягчение нравов, рост материального достатка, нарастание объективаций «Духа Наживы» (или «Духа Капитализма» по Максу Веберу). Но обольщаться не следует: вспышка носит кратковременный характер, ибо природа ее катастрофична: в масштабах реального исторического времени яркость вспышки есть рассыпающийся фейерверк. Процесс можно сравнить с надутым, но незавязанным воздушным шариком: если, расслабив пальцы, выпустить шарик из рук, он взлетит к потолку, совершил несколько беспорядочных рывков («на последнем издыхании») и навсегда затихнет...

Если говорить о деревнях Белозерья, вывод напрашивается сам собой: с прекращением праздничных драк остановился «реактор высокого синтеза» и возникший дефицит удали оказался невосполнимым. Все жители села Кобылина и окрестных деревень утверждают, что «на их памяти драки были уже не те». Гармонист А. А. Андреев из деревни Устье помнит множество распевов, но наигрыш под драку не помнит («мне-то уже и не доводилось, не любил я этого дела»). Когда Валентин Качанов говорит, что «ныне прежних драк-то нету», и характеризует современные драки как «бессмысленные», он ухватывает самую суть дела. По сравнению с теми престольно-праздничными драками нынешние несравненно менее жестоки и кровавы, но, конечно же, совершенно бессмысленны. Драка тоже, как и вся монада в целом, распалась на разрозненные фрагменты. Она больше ничего не синтезирует, хотя, впрочем, ничего существенного и не расстраивает (в метафизическом, а не в эмпирическом смысле), ибо резервов практически не осталось — разве что прозвучит какой-нибудь «бобок», невразумительный и слепой всплеск инерции распада.

Дух Воинственности выветрился первым, оставив прежних носителей в обреченности на тихое угасание. Лишившись самостоятельных одухотворяющих начал, деревни перестали быть монадами русской

действительности, они превратились в духовные и материальные колонии городской цивилизации, в отстойники отложенной смерти.

*Выражаю признательность филологам Надежде Григорьевой, Елене Дудко, Розалии Морганти (Франция) за содействие в сборе материалов и Елене Мигуновой за помощь в подготовке текста.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Минимальное социально-культурное единство, находящееся в состоянии активного неравновесия и способное поддерживать себя в таком состоянии будем называть монадой. Данное определение исходит из понимания монады Лейбницием. См.: Лейбниц Г. В. Монадология // Лейбниц Г. В. Сочинения. Т. 1. М., 1983.

<sup>2</sup> См. об этом подробнее: Секачкий А. К. О духе воинственности // Митин журнал. 1995. № 52.

<sup>3</sup> Кстати, для традиции драк в Белозерье характерно, что откладывались не только месть, но даже и сознание необходимости отомстить — откладывались вплоть до следующего престольного праздника, до нового рокового поворота калейдоскопа.

<sup>4</sup> На этот вид причинения обратил внимание еще Аристотель в своей «Метафизике», а на роль недостачи в инициировании сказочной нарративности указал В. Я. Пропп (см.: Морфология сказки. М., 1969).

<sup>5</sup> В тех краях, где гармошка не получила такого распространения, ее может заменять другой инструмент. Например, в Псковской области это гусли. Под гусли исполнялись лирические песни, частушки и др. а также и особые мелодии ярости — «скобари», подогревавшие драку и доводившие ее до нужного масштаба (сообщение О. Николаева).

<sup>6</sup> Ниче Ф. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 271.